# Бюст Тиберия

***Приветствую тебя две тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж
вокруг — твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,
развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице
уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Все то, что ниже подбородка, — Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев — наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате — бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
в тебе не останавливает взгляда.
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
готов на чем-либо остановиться:
ни на каком-либо лице, ни на
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит, ища причины
твоей жестокости! Причин на свете нет,
есть только следствия. И люди жертвы следствий.
Особенно в тех подземельях, где
все признаются — даром, что признанья
под пыткой, как и исповеди в детстве,
однообразны. Лучшая судьба —
быть непричастным к истине. Понеже
она не возвышает. Никого.
Тем паче цезарей. По крайней мере,
ты выглядишь способным захлебнуться
скорее в собственной купальне, чем
великой мыслью. Вообще — не есть ли
жестокость только ускоренье общей
судьбы вещей? свободного паденья
простого тела в вакууме? В нем
всегда оказываешься в момент паденья.

Январь. Нагроможденье облаков
над зимним городом, как лишний мрамор.
Бегущий от действительности Тибр.
Фонтаны, бьющие туда, откуда
никто не смотрит — ни сквозь пальцы, ни
прищурившись. Другое время!
И за уши не удержать уже
взбесившегося волка. Ах, Тиберий!
Кто мы такие, чтоб судить тебя?
Ты был чудовищем, но равнодушным
чудовищем. Но именно чудовищ —
отнюдь не жертв — природа создает
по своему подобию. Гораздо
отраднее — уж если выбирать —
быть уничтоженным исчадьем ада,
чем неврастеником. В неполных тридцать,
с лицом из камня — каменным лицом,
рассчитанным на два тысячелетья,
ты выглядишь естественной машиной
уничтожения, а вовсе не
рабом страстей, проводником идеи
и прочая. И защищать тебя
от вымысла — как защищать деревья
от листьев с ихним комплексом бессвязно,
но внятно ропщущего большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень.
Окно, замызганное зимним светом.
Шум улицы. На качество пространства
никак не реагирующий бюст…
Не может быть, что ты меня не слышишь!
Я тоже опрометью бежал всего
со мной случившегося и превратился в остров
с развалинами, с цаплями. И я
чеканил профиль свой посредством лампы.
Вручную. Что до сказанного мной,
мной сказанное никому не нужно —
и не впоследствии, но уже сейчас.
Но если это тоже ускоренье
истории? успешная, увы
попытка следствия опередить причину?
Плюс, тоже в полном вакууме — что
не гарантирует большого всплеска.
Раскаяться? Переверстать судьбу?
Зайти с другой, как говориться, карты?
Но стоит ли? Радиоактивный дождь
польет не хуже нас, чем твой историк.
Кто явится нас проклинать? Звезда?
Луна? Осатаневший от бессчетных
мутаций, с рыхлым туловищем, вечный
термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас
на нечто твердое, и он, должно быть,
слегка опешит и прервет буренье.

‘Бюст, — скажет он на языке развалин
и сокращающихся мышц, — бюст, бюст’.***